

Очень глубоко. Настолько, что сюда не проникают солнечные лучи. Надо мной километр вязкой, густой, черной воды. С такой глубины невозможно вынырнуть, и я даже не пытаюсь. Вокруг меня абсолютная, непроницаемая тишина. Так не бывает, ведь на любой глубине можно что-нибудь услышать. Просто кто-то невидимый выключил звук.

Я знаю, чтобы не спугнуть это черное безмолвие, нельзя даже думать. И сразу, словно в ответ, где-то там, высоко, светлеет. Мягким, бархатным прикосновением начинается мой подъем к далекому мерцающему своду.

Вода уже не черная, сейчас она как свинцовое грозовое облако. Но и облако быстро меняется, покрывается сединой. И вот уже могучая сила выталкивает меня, с каждой секундой ускоряя движение в зеленеющей воде, стремительно приближая к чему-

то невероятно яркому, ослепительно-белому, такому, что невозможно выдержать. А тишина еще со мной, хотя я уверен — ненадолго.

Сейчас больше всего мне хочется туда, навстречу свету, к первому резкому вздоху, к тому чувству высвобождения, которое почему-то давно знакомо.

За несколько мгновений до того, как я прорываюсь к спящему солнцу, что-то заслоняет его. Передо мной возникает картинка. Даже не картинка, а фотография. Сначала маленькая. Но она быстро увеличивается. Вот уже совсем большая. Очень знакомая. Трое на фоне моря. Девушка, парень и ребенок. Кажется, я видел их когда-то, но теперь не узнаю. Еще немного — и я вспомню. Сейчас. Лица всё ближе. Свет вокруг меня медленно гаснет. Лишь фотография остается горящим экраном.

На снимке отчетливо проступают белые буквы, они выписаны очень причудливо. Разобрать трудно, но я уверен, что читал эту надпись раньше. “СУХУМИ-86”. Она должна означать что-то важное для меня. Конечно, мне уже почти удалось узнать, это же...

И я вынырываю. Удивительно, тут нет криков чаек, шума волн, шелеста откатывающейся гальки, детского смеха.

Вместо этого какой-то огромный и спокойный голос произносит:

— КОТОРЫЙ ЧАС?

Невероятно трудно понять смысл сказанного, хотя, наверное, тут нет никакого смысла. И когда я

уже схватил убегающее эхо, другой голос, тоже уверенный и сильный, мягко разжимает мою руку с обрывками слов:

— СЕМНАДЦАТЬ ПЯТНАДЦАТЬ!

Как же приятны, оказывается, могут быть голоса. Необязательно понимать, что они говорят, сам звук их прекрасен, он мягко качает, переполняя меня неизведанным раньше восторгом.

Такое хочется слушать и слушать, и, видимо, понимая это, первый голос снова приходит из своего ниоткуда:

— ПОРА ЗАКРУГЛЯТЬСЯ. ШЬЕМ!

Мне необходимо увидеть тех, кто говорит. Кто произносит эти удивительные и красивые слова.

И вдруг отчетливо понимаю, что мои глаза закрыты. Не просто закрыты — на них давит тяжелый груз. И кроме этих голосов, никто на свете не сможет сдвинуть его.

— Помогите открыть глаза! — прошу я, но получается только протяжный и громкий стон.

И тогда возникает третий голос, самый главный, заполняющий все вокруг, не оставляя ни сантиметра пустого пространства:

— ОН ПРОСЫПАЕТСЯ. ЕЩЕ ФЕНТАНИЛ!

Запасной выход

На столе надрывались оба телефона, городской и местный. Городской был красного цвета, местный — серого. Местный звонил в тональности ля, а городской — в ля-диез. Интересно, какой из них замолчит первый? Да наверняка местный.

Первым заткнулся городской. Местный выдал еще две мажорные трели и тоже утомился.

Мы с Лидией Васильевной синхронно вздохнули.

Я работаю в отделении пятый год, а в кабинете у Суходольской всего второй раз. Визит в кабинет заведующей означает серьезный разговор. Первый такой случился года три назад. Тогда она снимала с меня и Вани Рюрика стружку, причем с Вани заочно.

Абсолютно не по делу. Я сел с язвой на больничный, но жирная Танька Лаптинова, наша сестра-хозяйка, пустила слух, что мы с Ваней гуляли на чьей-то свадьбе. Ни много ни мало — неделю. За Сухо-

дольской водилось подобное — она иногда верила в самые немыслимые вещи. Когда долго работаешь в реанимации, поневоле становишься мистиком.

Не успел я выйти на работу, как был вызван на ковер для дачи показаний. Ивану повезло, он успел в отпуск свалить.

— Леша, есть сведения, что ты специально взял больничный, чтобы пойти на свадьбу с Рюриковым! — скрестив на столе руки и уставившись в бумагу перед собой, начала Лидия Васильевна. — Что скажешь?

— Что скажу? Скажу, что вы не первая, кто из самых лучших побуждений пытается связать нас брачными узами, но... — Я выдержал трагическую паузу и продолжил: — Но увы! Я несвободен, да и Ваня женат. Что же нам делать, Лидия Васильевна? Может быть, местком подключить?

— Моторов! — с деланным возмущением воскликнула Суходольская, хотя я видел, что она еле сдерживается, чтобы не расхохотаться. — Скажи, ты можешь быть хоть минуту серьезным?

— Могу! — поклялся я. — Могу, Лидия Васильевна, но только за большие деньги!

— Уйди, Лешка! — взмолилась Суходольская. — Уйди с глаз долой и только попробуй попадись с сигаретой, язвенник!

Но это было давно, а сегодня инициатива встречи принадлежала мне. Начальство всегда боится разго-

воров, которые происходят по просьбе подчиненных. От таких бесед ничего хорошего, только головная боль.

Обычно у Суходольской в кабинете обсуждались два вопроса, и оба малоприятные. Ей либо признавались в тайной беременности с целью поклянчить легкую работу и перевестись с суточного графика на дневной, либо сообщали об увольнении по собственному желанию.

— Не вздумай, Лешка, сказать, что уходишь! — нахмурившись, первая нарушила молчание начальница, одним махом вдвое сузив круг потенциальных проблем. — Сам видишь, какая у нас сейчас ситуация!

Ситуация у нас всегда была будь здоров, но мы оба понимали, что если я подам заявление, никто насильно меня не удержит.

— Лидия Васильевна, — горько вздохнув, приступил я. — Так уж сложились обстоятельства, что вынужден просить вас о переводе на дневной режим работы! — И, к своему большому удовольствию, видя, как вытягивается у нее лицо, успокоил: — Шучу!

Суходольская перевела дух. Она была классным врачом и неплохой теткой. Мне нравилось с ней дежурить, особенно поначалу. Хотя иной раз как отмочит что-нибудь, так хоть стой, хоть падай.

На прошлой неделе, например, прочитала судебный очерк в “Литературке” и головой покачала:

— Похоже, порядочные люди только в КГБ остались!

Неужто Юлиан Семенов своими опусами прочкистов умудрился хорошим людям так голову запудрить, что даже Лидия Васильевна про их порядочность заговорила? Ладно, блажен, кто верует. Не будем на мелочи отвлекаться.

Я устроился поудобнее на стуле, сделал серьезное лицо и спросил:

— Вы знаете, который раз я проваливаюсь в институт? — И, не дожидаясь ответа, с отчаянной гордостью мазохиста сообщил: — В этом году уже пятый! И нет гарантии, что поступлю на шестой! В последнее время сам чувствую, что отупел до невозможности! Да и вы наверняка это замечаете!

— Леша, когда я называла тебя тупым, я другое имела в виду! — виновато стала успокаивать меня Суходольская.

Как-то в прошлом году, под настроение, я сказал ей, что хочу немного передохнуть и хоть одно лето провести не за учебниками и конспектами, а на берегу речки с семьей.

Вот тогда Лидия Васильевна, видимо решив меня подстегнуть, возмутилась:

— Только попробуй расслабиться, Лешка, всем буду говорить, что ты тупой. И первым делом твоей жене расскажу!

И потом недели две, стоило нам столкнуться, подмигивала мне и заявляла что-то вроде:

— Да, Моторов, у тебя даже взгляд какой-то отупевший, куда тебе в институт, давай в парикмахеры!

Парикмахеры в представлении нашей заведующей были самым маргинальным элементом.

После традиционных утренних выволочек она всегда добавляла:

— Не нравится в больнице работать? Идите в парикмахеры!

Меня часто подмывало ей возразить, что парикмахеры — они хоть человеческой жизнью живут, ночами не работают, дома спят, да еще на чай получают. Но никогда этого не говорил, во-первых, по малодушию, а во-вторых — сознавая весь героизм нашей профессии.

А вот сегодняшний мой разговор — он такой немного дезертирский.

— Лидия Васильевна, вы же догадываетесь, что всю жизнь здесь работать я не смогу, а из медицины уходить пока не собираюсь! Вот на досуге подумал и решил себе запасной аэродром завести, — торжественно объявил я, но тут опять зазвонили телефоны, сначала местный, а через секунду городской.

Мы снова вздохнули и взяли паузу.

Я — медбрат. Ходячее недоразумение. Мне уже двадцать два. В этом возрасте все приличные люди институты заканчивают, планы на жизнь строят. А я прячусь от старых знакомых. Ведь разговор обязательно скатится — кем и где работаю. А так не хочется говорить, что в больничной иерархии я нахожусь на самой низкой ступени. Санитаркам и бу-

фетчицам и то легче. Они могут прогуливать, воровать, в запой уходить. С ними заигрывают, на многое глаза закрывают. А медсестры и медбратья — самый бесправный класс. Пушечное мясо. Может быть, это такая расплата за тот мой пионерский инфантилизм?

Врачом я задумал стать давно, можно сказать, в детстве, а точнее — в пионерском лагере. Лагерь был от Первого медицинского института, назывался очень просто — “Дружба”, и попал я туда абсолютно случайно, получив грандиозное предложение играть в лагерном ансамбле на гитаре. Вожатыми там были молодые ребята-студенты, которые своими ежедневными медицинскими байками добились того, что я сам не заметил, как растворился во всей этой атмосфере приукрашенной романтики и более ни о чем, кроме как о врачебном поприще, не помышлял. И с тех пор пошло-поехало.

Пролетев первый раз в институт и поддавшись на уговоры друзей-приятелей, я решил годик перекантоваться в медицинском училище. Чем зря тратить время на работу санитаром, лучше пойду один курс поучусь, на гитарке в местном ансамбле побренчу, а там и поступлю. Но ни через год, ни через два никакого поступления не случилось.

И пришлось, согласно диплому, идти работать медбратом в реанимацию Седьмой городской. Причем попал я туда мало того что добровольно, а можно сказать, пролез всеми правдами и неправдами. Настолько сильное впечатление произвело на

меня во время зимней практики это отделение и его заведующая Лидия Васильевна Суходольская.

И хотя реальность оказалась много суровее, работать там, особенно в первое время, очень нравилось. В конце концов это и сослужило мне недобрую службу. Я безропотно принимал все просьбы выйти сверхурочно, остаться после суток поработать в день или после суток выйти в ночь, а иногда отбарабанить два суточных дежурства подряд. Постепенно выяснилось, что при таком графике ни о какой более-менее пристойной подготовке в институт и речи быть не может.

И в самом деле, какие репетиторы, какое корпение над книгами и конспектами, когда забежал домой, поел, поспал — и опять на суточное дежурство. А коррупция в медицинских институтах и тогда была неслабая, про существование списков знали все, и мои ежегодные попытки поступить с наскока смахивали на авантюру.

Тем не менее я каждый раз брал отпуск в июне-июле, месяц сидел над учебниками, судорожно пытаюсь реанимировать школьные знания. В финале получал двойку по физике, последнему институтскому экзамену, и с чистой совестью, хотя и не без затаенной ненависти ко всем этим Ньютонам и Гей-Люссакам, выходил на работу.

Вот так, вместо короткого и необременительного этапа, я получил тяжелую работу за гроши с отчетливой перспективой деградации. Ловушка захлопнулась. Но мне и правда очень нравилась меди-

цина, я и думать не хотел не то что о смене профессии, но даже о том, чтобы поменять реанимацию на более спокойное место.

Работа в любом другом отделении давала возможность прекрасно спать по ночам, не быть по локоть в дерьме, не драить как проклятый полы и мебель, не ворочать и не перестилать больных. Но представить себя в роли постовой сестры, раздающей таблетки, я не мог, посему продолжал тянуть свою ляжку и даже из-за нищенской зарплаты поначалу не дергался. Потому что очень быстро реанимация стала родным домом, да и кличка моя здешняя — Паровозов — мне почему-то нравилась.

Но мысли о дальнейшей судьбе, как ни гнал я их от себя, все более настойчиво сверлили слабый разум. Понятно: хочешь не хочешь, а что-то менять придется.

У меня была парочка закадычных друзей, тоже медбратьев, но которые и не думали впрягаться в сестринскую работу, а устроились по благу массажистами. Их рассказы о каторжном труде всегда вызывали умиление и звучали примерно так:

— Что за жизнь, второй год тачку поменять не могу, сплошные расходы. Ирке своей в прошлом месяце канадскую дубленку купил, а то ей зимой на улицу выйти не в чем, неделю назад достал с переплатой ковер на пол в детскую, чтобы ребята не простужались, а то бегают босиком по паркету, в августе в Гагры двинем всем семейством, забыли

уже, как море выглядит. А тут еще только за последнее время троих постоянных клиентов потерял. Одного посадили, другой помер, а третий и вовсе в Израиль свалил. Теперь еле шесть сотен в месяц наскребаю. Нет, конечно, и в клинике перепадает кое-чего, но это так, по мелочи...

Подумал я, подумал и тоже решил в массажисты идти. А что, куплю Лене дубленку, сынку Роме ковер, и махнем мы тогда на радостях в Гагры. А тачку и брать не буду, чтобы потом не менять.

В то время в Москве только одно учебное заведение готовило массажистов и выдавало официальные дипломы. Находилось оно у черта на куличках, в Конькове, от метро “Беляево” несколько остановок пилить на троллейбусе. Но не в расстоянии дело, а в том, что попасть туда “с улицы” было невозможно. Студентами становились лишь те счастливики, которым присылали путевки из Главного управления здравоохранения по запросу администрации с места работы. Путевок было мало, а желающих хватало.

Не все знают, но большинство сотрудников массажных кабинетов по факту являлись обычными медбратами и медсестрами. Они, естественно, прилагали невероятные усилия, чтобы получить пожизненно высокий статус массажиста с дипломом.

Терять было нечего, и я решил рискнуть. Задача предстояла непростая, поэтому пришлось разбить ее на два этапа.